



Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ

Гоголь и Россия

В «Переписке с друзьями» Гоголя есть замечательные слова, которые проникают в самую глубь наших современных дум.

«Вот уже почти полтора ста лет протекло с тех пор, как государь Пётр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудия для дела. И до сих пор остаются так же пустынно, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо всё вокруг нас, *точно как будто бы мы до сих пор ещё не у себя дома, не под родной нашей крышею, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге*; и дышит нам от России не радушным, родным приёмом братьев, но какою-то холодною, занесённою вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный почтовый смотритель с чёрствым ответом: «Нет лошадей».

Когда читаешь эти слова, кажется, точно они написаны вчера: до того они полны современного значения. Всё так же теперь мы в России словно чужие, всё так же ищем и не находим родину¹. Всё так же давит нас беспредельное пространство, не одухотворённое нашей культурной работой. По-прежнему тоскливо чувство неисполненного долга перед родной землёй; бессильно движение вперёд и безнадежно холоден ответ смотрителя: «Нет лошадей».

Не те или другие преходящие черты эпохи, а сверхвременная сущность нашего народного характера выразилась в произведениях Гоголя; поэтому в них до сих пор мы можем читать печальную повесть не только о нашем прошлом, но и о настоящем России. В них всё полно неумирающего значения.

Что же поведал нам Гоголь о России? Прежде всего она для него — синоним чего-то необъятного, беспредельного, «неиз-

меримая русская земля». Но беспредельное — не содержание, а *форма* национального существования. Чтобы найти Россию, надо *преодолеть пространство*, наполнить творческой деятельностью её безграничный простор. В поэзии Гоголя мы находим человека в борьбе с пространством. В этом — основная её стихия, глубоко национальный её источник.

С этим связаны у Гоголя все его радости и печали. Беспредельное, когда оно является нам во образе пустыни, гнетёт и давит, ибо оно вызывает *тоску по содержанию*, которое бы его наполнило. Но в этом же созерцании беспредельного есть неиссякающий источник подъёма и воодушевления, потому что оно открывает безграничный простор для жизни, движения и подвигов.

Безграничная тоска и беспредельное воодушевление — вот те противоположные настроения, которые, в связи с созерцанием русской равнины, окрашивают лирику Гоголя. Гоголь признаёт, что это — те самые черты, которые составляют своеобразную особенность русской песни.

Особенность эта выражается в том, что русская народная песнь не знает пределов ни в тоске, ни в разгуле. «В русской песне, — говорит Гоголь, — мало привязанности к жизни и её предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению унести куда-то вместе со звуками». — «Ещё доселе загадка, — читаем мы в другом месте, — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несётся куда-то мимо жизни и самой песни, как бы стораемая желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания человек».

С этими особенностями русской песни тесно связана другая черта народного характера, которая также отражается в жизни и в творчестве Гоголя. Я говорю о склонности к странствованиям. В той бесконечной равнине, среди которой протекает наша жизнь, ничто не приковывает к себе человека. Благодаря самому однообразию окружающей природы он не чувствует себя прикреплённым к какому-либо определённом месту. Отсюда, в связи с бедностью жизни, необыкновенная подвижность русского человека: чем меньше удовлетворяет его окружающая действительность, тем сильнее в нём влечение к беспредельному, тем больше манит его дальняя дорога.

Отсюда у нас — народный тип странника², с которым так часто сочетается тип богоискателя. Сочетание это вполне естественно. Странствования нашего народа связываются с исканием луч-

шей отчизны, во-первых, потому, что они чаще всего вызываются тоской, страданием, горем народным — словом, *разочарованием в отчизне здешней*. Во-вторых, влечение к беспредельному, хотя оно и возбуждается созерцанием бесконечного пространства, однако не находит себе удовлетворения в мире земном, где человек ежеминутно натывается на положенные ему тесные границы. Неудивительно поэтому, что среди русского простонародья странник считается божьим человеком, причём самое хождение по земле признается делом спасительным, богоугодным.

В жизни и деятельности Гоголя мы находим эти самые черты народного типа. Он — по существу писатель-странник и богоискатель. Почти вся его литературная деятельность протекла среди непрерывных странствований; и эти странствования теснейшим образом связаны с самой сущностью его творчества, с основным *делом его жизни*, которое для него было делом, по существу, религиозным. Он странствовал, во-первых, потому, что всем существом своим испытывал тоску о России здешней, действительной, исторической, и, во-вторых, потому, что всем сердцем жаждал «Руси святой», соответствующей его религиозному идеалу.

Эти странствования были для него одновременно исканием Бога и исканием России. В «Переписке с друзьями» он объясняет, что то и другое — для него — одно и то же. Любовь к Богу без любви к человеку мертва: «Как полюбить Того, Кого никто не видал?» — «Не полюбивши России, не полюбите вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу». С этим Гоголь связывает мысль о паломничестве по России; нужно «проездиться по России», чтобы её полюбить, узнать и деятельно послужить ей. Напрасно было бы думать, что такой взгляд на религиозное значение путешествий возник у Гоголя в эпоху «Переписки с друзьями». С мыслью о его религиозном служении для него связывались все его странствования уже в конце двадцатых и в тридцатых годах. Уже в 1829 году он пишет матери, что *Бог указал ему путь в землю чужую*. Также в 1836 году он объясняет своё заграничное путешествие предначертанием свыше. В письмах своих он вообще упоминает о своих странствованиях рядом с «уединением», «отлучением от мира», самоуглублением, молитвами³.

Чтобы написать «Мёртвые души», Гоголю нужно было сесть в бричку вместе с Чичиковым; уже это одно достаточно освещает

необходимую связь между творчеством Гоголя и его странствованиями по России. Но какое значение могли иметь для этого, по существу, национального писателя его заграничные путешествия?

Тут открывается перед нами самая парадоксальная и вместе чрезвычайно интересная черта деятельности Гоголя: искание России составляло цель его жизни, всю задачу его творчества. Но *найти Россию* он мог только за границей.

В известном лирическом месте тома «Мёртвых душ» он говорит: «Русь, Русь, вижу тебя; из моего чудного, прекрасного далёка тебя вижу». Чтобы увидеть Россию, Гоголь должен был отъехать от неё на расстояние: вблизи мелочные подробности будничной жизни заполняют собою всё поле зрения и мешают рассмотреть целое. Они давят на душу и задерживают её полёт. Гоголь вряд ли мог бы вынести созерцание этой серой, неприглядной России, если бы тёмно-синее небо Италии не бодрило его надеждой на миры иные. Неудивительно, что впоследствии, в «Авторской исповеди», Гоголь жалуется, что среди России он почти не увидал России. «Разъездами по государству много не возьмёшь: останутся в голове только трактиры да станции». Из расспросов также много не узнаешь, ибо тут действительная Россия заслоняется множеством разнообразных и противоречивых о ней мнений. «Словом, — говорит Гоголь, — во всё пребывание моё в России, Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак её собрать в одно целое; дух мой упал, и самоё желание знать её ослабевало. Но, как только я выезжал из неё, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой».

Замечательно, что образ России как целого для Гоголя не отделялся от странствования, дороги. Известно, что она явилась ему во образе бешено скачущей тройки, которая «мчится, вся вдохновенная Богом». Он видел её в общем порыве, в общем движении. *Движение и есть то, что объединяет Русь в одно целое.*

В этом образе обращает на себя внимание его незаконченность. Гоголь ясно видел, как и *откуда* скачет тройка; но он не отдавал себе отчёта, *куда* она несётся. С этим связано то роковое противоречие лирических мест первого тома «Мёртвых душ», в котором выражается вся безысходная драма последующего периода литературной деятельности Гоголя. С одной стороны, художник чувствует, что «всё в России обратило на него полные

ожидания очи». Родина жаждет узнать от него разгадку смысла своего существования: она ждёт от него откровения нового жизненного пути. Но вместо ответа у него у самого вопрос шевелится на устах: «Русь, куда же несёшься ты! Дай ответ! Не даёт ответа!»

Ясно, что основная задача остаётся здесь неразрешённой. Сказать, что национальное существование есть быстрое движение, странствование, скачка, — значит ничего не сказать, ибо сущность движения народа, значение этой вековой борьбы его с пространством определяется её целью. Вместо ответа на вопрос о цели Гоголь даёт только изображение самого стремления к ней.

Мы хорошо знаем отношение этого движения к *прошедшему* русской жизни, от которого удаляется наша тройка. Позади остаются пустынные пространства и ничтожные люди — Маниловы, Плюшкины, Собакевичи, Коробочки. Из всего этого нам ничего не жаль; и мы с радостью повторяем за Гоголем: «Чёрт побери всё». Но настроение наше в корне меняется, когда мы задумываемся о том, что ждёт нас впереди. Точно ли эта скачка в неизвестное должна освободить нас от гнетущих впечатлений? Не суждено ли нам впоследствии бесконечное число раз встречать в дороге всё те же безобразия и наткнуться на тех же знакомых нам чудовищ?

Неудивительно, что этот вопрос оказался роковым для Гоголя: чтобы творить, ему надо было ясно видеть путь свой перед собой и знать, куда ведёт он своего читателя. В молодости он, по собственному признанию, творил беззаботно и безотчётно: когда его давила грусть, он освобождался от неё смехом. Но с годами это соловьиное пение стало для него невозможным: под влиянием Пушкина он взглянул на дело серьёзнее и относительно каждого своего произведения стал ставить вопросы: «зачем» и «для чего»; он понял, что раньше он смеялся даром. Ему стало ясно, что не себя самого надо освобождать смехом от печали: надо делать им живое общественное дело — освобождать Россию от чудовищ, изгонять из неё бесов. Ибо смех — могущественное оружие борьбы: «насмешки боится даже тот, кто больше ничего на свете не боится».

В «Ревизоре» наш автор задался задачей «собрать в одну кучу» всё дурное, что только есть в России, — все неправды, которые там творятся, чтобы одним разом посмеяться надо всем. Но

на том пути, который избрал Гоголь, нельзя было ограничиться одной этой отрицательной задачей «очистки мусора». Надо было разрешить задачу положительную — найти путь правды. Вот почему после «Ревизора» он почувствовал потребность в сочинении более полном, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Вся Россия должна была предстать здесь во всей полноте своих определений — тех высших её свойств, которые должно ценить, и тех низших, которые заслуживают осуждения.

Так ставилась задача «Мёртвых душ»; но первоначально Гоголь приступил к работе без обстоятельно продуманного плана. «Я думал просто, — говорит он, — что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, *наведёт меня сам* на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными». Иначе говоря, Гоголь поступил как те странники из народа, которые, пускаясь в дорогу, слепо верят, что она *сама приведёт их в обитель, где правда живёт*. Но осквернены все земные обители. И без конца будет продолжаться странствование от монастыря к монастырю, пока странник не поймёт, что искомой им обители на земле нет вовсе, что она ещё только должна быть выстроена.

Это самое и случилось с Гоголем. Вместо «святых мест», коих он искал, бричка Чичикова заезжала в одни только «опозоренные святыни и места». Вместо «живых душ» попадались по дороге только «мёртвые». Обманула его дальняя дорога, и тревога наполнила душу художника: он стал себя спрашивать: «Зачем? к чему это? Что должен сказать такой-то характер? Что должно выразить такое-то явление?»

Прав или не прав был Гоголь в такой постановке задачи? Могли ли он продолжать творить без ясно сознанной цели и без плана? Так творил впоследствии Чехов, который воспроизвёл также без определённого плана великое множество хмурых, бессодержательных и ничтожных человеческих типов. Но тут-то и сказывается различие между талантом и гением. В отличие от Чехова, Гоголю было недостаточно копировать жизнь: ему нужно было вскрывать её смысл и двигать её вперёд. Он требовал, чтобы в каждом его создании жизнь сделала новый шаг, и потому не повторялся. Чехов довольствовался изображением эфемерных созданий, которые рождаются, прозябают и исчезают, как мыльные пузыри, не оставляя заметного следа на земле. Напротив, Го-

голь, как он сам говорит о себе, — *хотел творить существенное*; своим искусством он желал принести осязательную пользу себе и другим: оно связывалось у него «с делом души», с «прочным делом жизни». Поэтому он не считал себя вправе возвращать жизни людей такими, какими он их взял. И в этом его взгляд на искусство — неизмеримо глубже чеховского.

Что же помешало Гоголю в исполнении задачи, столь ясно поставленной и столь глубоко осознанной? Почему не удалось ему *сознательное* искусство? Иные критики объясняют это падение таланта Гоголя «религиозностью» его последнего периода. Однако новейшие исследования неопровержимо доказали, что эта религиозность была изначальным свойством его душевного склада: религиозное искание было вообще основным мотивом его творчества; и из биографии его не видно, чтобы его религиозные воззрения менялись. Странности последних произведений нашего писателя нисколько не коренятся в его религиозности; напротив, они связываются с некоторыми причудливыми отступлениями от неё. «Христианство» добродетельного помещика Констанжогло не мешает ему погружаться в материальную жизнь с головы до пят. Это — «туз-хозяин», который от своего христианства богатеет, как Крез, и обогащает своих мужиков. Не менее странная фигура — откупщик Муразов, который наживает миллионы на народном пьянстве и проповедывает Чичикову покаяние.

Но всего поразительнее здесь односторонность взгляда на религиозный идеал; в «Переписке» он понимается исключительно как норма для индивидуальной, личной жизни; к жизни общественной Гоголь не предъявляет никаких требований. Он мирится с существующим строем до крепостного права включительно и ждёт спасения общества от личных добродетелей помещиков, чиновников, и в особенности генерал-губернаторов.

Словом, Гоголь не знает христианства как живого *общественного* дела. И в этом нельзя не видеть победы старой Руси над художником. Для изображения правды в общественных отношениях тогдашняя государственная и общественная жизнь России просто-напросто не давала ему образов. Он мог наблюдать сколько угодно *частных* добродетелей; но он не мог изображать ни общественного дела, ни общественных деятелей, потому что ничего подобного в России в то время не было.

Отсюда — бьющее в глаза противоречие деятельности Гоголя последнего периода; с одной стороны, он раскрыл в своих

произведениях ужасающее *общественное* зло; с другой стороны, от этого зла у него спасают не общественные силы, а изолированные лица. В этом, а вовсе не в религиозности Гоголя заключается фальшь всех его добродетельных чиновничьих и помещичьих типов; неудивительно, что среди крепостного права их бледная, бескровная праведность оторвана от жизни. Гоголь очутился перед заметённой снегом станцией и услышал известный нам окрик зрителя вовсе не потому, что он руководствовался своим религиозным идеалом, а, наоборот, потому, что он отступил от него — попытался совместить его с чудовищными, антихристианскими порядками дореформенной России.

Необходимым условием воплощения правды в общественных отношениях является всеобщее раскрепощение, осуществление частной и общественной свободы; крупная ошибка Гоголя заключалась в том, что он этого не понимал.

Но ещё ошибочнее распространённое в наше время мнение, которое, наоборот, ждёт спасения общества исключительно от внешних преобразований. Именно это заблуждение составляет главное препятствие к разрешению поставленного нами вопроса — почему Россия до сих пор не вышла из того тупика, на который наткнулся Гоголь.

Со дня смерти Гоголя прошло более полувека; с тех пор мы избавились от крепостного права и получили зачатки конституционных учреждений. Три года тому назад, казалось, от России зависело стать совсем свободной и осуществить всякую, даже самую дерзновенную мечту. Немало было в то время порывов высокого идеализма. Лучшая часть русского общества жаждала правды. И вдруг всё рухнуло.

Опять мы видим Россию во власти тёмных сил. Сенаторские ревизии последнего времени обнажили ужасы не меньше тех, что были в сороковых годах. «Мёртвые души» всё ещё не пережиты нами: в новых формах нашей жизни таится старая гоголевская сущность.

Чем же обуславливается столь печальный исход нашей борьбы за достойные человека условия существования? Объяснения мы найдём опять-таки у Гоголя, который, помимо способности наблюдать настоящее, обладал несомненным даром провидеть будущее. Среди полного затишья сороковых годов он видел бешеную скачку русской тройки. Ничего подобного в то время не происходило, и, конечно, тогда Россия никого не обгоняла. Тут

Гоголь, очевидно, не наблюдал, а предвидел, ибо чуял народный характер. Живая душа писателя почувствовала в себе крылья, которые уносили её от мёртвых душ ; он верил, что эти крылья рано или поздно вырастут у России.

В 1905 году пророчество как будто бы сбылось. Тогда действительно тройка закусила удила, подхватила экипаж, сбивала с ног прохожих и наводила ужас на соседей своим молниеносным движением. До сих пор с подлинным верно; и только окончание внесло в гоголевский текст кое-какие дополнения.

Верные национальному инстинкту, кони мчались без возницы, не зная ни дисциплины, ни удержа. Не чувствуя вожжей, освободившись от всякого управления, они подчинялись только стихийному стремлению к безграничному простору и к дикой воле. Но недолговечен был порыв и скоро сменился общим утомлением. Беспорядочная скачка кого потоптала, кого утратила. Тут, к великой радости испуганных обывателей, тройку поймала твёрдая, но грубая рука. С тех пор она покорно возит казённую корреспонденцию. А обывателям скорая езда воспрещена надолго.

Отчего это случилось? Во-первых, от той экстенсивности национального характера, которая воспиталась в борьбе с пространством⁴, от нашей ненависти ко всему, что носит на себе печаль какого-либо предела, от нашей неспособности в чём-либо себя обуздать и ограничить. Мы захотели одним взмахом перелететь безграничное пространство; когда это не удалось, у нас разом опустились руки. Русскому нужно или всё, или ничего: всё остальное, ограниченное его не интересует.

Другая причина неудачи в том, что движению не доставало то самое, что могло сделать его прочным и долговечным. В нём было недостаточно той веры в Россию, которая вдохновляет на подвиги; зато в нём было много той ненависти, которая ослепляет и затмевает его смысл. Казалось бы, все участники освободительной борьбы могли бы объединиться в общем служении России, в общем стремлении освободить её. Но для многих из нас Россия олицетворяла собой то самое иго, от которого надлежало освободиться. Рабский образ современной России для многих заставлял внутреннюю *духовную* Россию, то лучшее народное «я», которое достойно любви и веры. Но без веры невозможно горы передвигать: когда её нет, во имя чего бороться, ради чего приносить жертвы? Вот почему так скоро иссякло наше воодушевление.

ние; вот почему мы так поспешно и постыдно пошли на полную капитуляцию.

Но обратимся к Гоголю. Другое его пророчество ещё ближе к делу. Вдохновенным рассказом «Мёртвых душ» про сапожника Максима Телятникова он прямо предсказал, как русский человек воспользуется своей свободой, когда он её добудет.

«Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, всю историю твою расскажу. Учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнём по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не сапожник; и не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с камрадом. А как кончилось твоё ученье, — «А вот теперь я заведу свой домком, — сказал ты: — да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею». И вот, давши барину порядочный оброк, завёл ты лавчонку, набрав заказов кучу, и пошёл работать. Достал где-то втридеша гнилушки кожи и выиграл точно вдвое на всяком сапоге; да через недели две перелопались твои сапоги, и выбрали тебя подлеишим образом, И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошёл попивать да валяться, приговаривая: «Нет, плохо на свете! Нет житья русскому человеку: всё немцы мешают!»

Вот в двух словах наша печальная история. Три с лишком года тому назад дорогой ценой добыли мы себе волю: оброк платили не деньгами, а людьми. Пришло нам время обзавестись «своим домком» — и мы тотчас отвергли всякую иноземную школу; в те дни на собраниях, на митингах громче всех раздавался голос Максима Телятникова: «Мы не так как немцы, мы вдруг разбогатеем». Но тут, как и везде, Телятников оказался двойственным типом — сочетанием радикала и плута. Как радикал, он ненавидит постепеновщину, всё то, что напоминает правило «потихоньку да полегоньку», и отзывается немцем. Но вершина человеческого благополучия не достигается разом; кто хочет обойти необходимые ступени общечеловеческого прогресса, тот волей-неволей вынужден сплутовать. Телятников и тут попытался основать благополучие на грабеже и, понятное дело, перестал внушать веру; который раз разочаровалась в нём русская публика, и лавочка его запустела. Но поздно: он всех успел скомпрометировать и всех вовлёл в своё разорение. Теперь, вместо золотых гор, которые он сулил, нам недостаёт даже самого скромного благосостояния. Что же делает Россия? Пьёт, как никогда, и жалуется, что житья нет русскому человеку от немцев. А от немцев

и в самом деле приходится плохо! Сначала грозили, потом стали приказывать, и если так будет продолжаться, то скоро будут бить, пока не выучат.

Что же это значит? Являются ли немцы по отношению к нам высшей расой, превосходят ли они нас дарованиями, умственными способностями? Нет, но они ценят относительное, *осуществимое* и в достижении ограниченных результатов проявляют огромное упорство. Они бьют нас тем самым качеством, которым били нас японцы, которым превосходят нас едва ли не все наши соседи, — *житейским умением*. Народ, родивший Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого, несомненно, обладает *высшими* дарами гения; нас губило доселе скорее отсутствие меньших дарований.

Здесь мы приближаемся к ответу на вопрос, поставленный в начале этой беседы: почему, несмотря на огромные естественные богатства и на многовековые усилия, русский народ не сумел обеспечить себе не только благоустройства, но даже сколько-нибудь сносного существования? Тут недостатки тесно связаны с положительными качествами. Они составляют как бы обратную сторону медали. Говоря о нашей житейской беспомощности, как не вспомнить замечание Гоголя о том, что русская песнь идёт мимо жизни и не обнаруживает к ней привязанности!.. Всё, что было в России творчества, всегда устремлялось к безусловному, безотносительному, горнему. Не потому ли немецкое терпение, немецкие заботы *об относительном* благополучии нам кажутся подчас столь жалкими, буржуазными филистёрскими! В отношении русского человека, и в особенную и русского радикала, к немцу есть много бессознательного, незаметного для нас самих высокомерия; это — та самая черта, которая была увековечена Щедриным в бессмертной беседе мальчика без штанов с мальчиком в штанах. Бесприютный и бездомный скиталец в собственной земле, русский человек втайне презирает немца именно за то, что тот обзавёлся «собственным домком» — комфортом, приличием и... штанами! Для национального самомнения даже заметённая снегом станция служит свидетельством о национальном превосходстве и даровитости.

Нужно ли доказывать, насколько такое отношение к себе и другим несправедливо в своей односторонности! Тот глубокий идеализм, который не мирится с духовным мещанством в каком то ни было виде, составляет ценное преимущество нашего народ-

ного характера. Но этот идеализм утрачивает свою жизненную силу, когда он впадает в крайность *отрицания относительно*: этим он лишает себя возможности *проникать* в нашу земную жизнь, где безусловное Добро ещё не совершилось, а только совершается. Кто хочет цели, тот должен хотеть и средства; поэтому с точки зрения идеала безусловного совершенства следует приветствовать всякое приближение к добру, всякое относительное усовершенствование. Иначе самый идеализм превращается в карикатуру, становится маской для лени, удобным предлогом, чтобы ничего не делать! Если добыть себе полную свободу — не в нашей власти, то следует ли отсюда, что мы должны мириться с рабством? Если мы не в состоянии одним скачком достигнуть царства правды, то может ли это послужить оправданием той безграничной неправды, которая царит в русской земле? Если мы не в состоянии превратить Россию в Царствие Небесное, то неужели на этом основании мы должны прекратить борьбу против надвигающегося ада?

Надо раз навсегда покончить с правилом: «или всё, или ничего», иначе из нас ничего и не выйдет. Можно так или иначе объяснять нашу житейскую неумелость, беспомощность; но мириться с ней — преступно; ибо это равносильно отказу от того живого дела, которого прежде всего требует от нас правда. Идеалу изменяет не тот, кто совершает к нему трудный, долгий путь восхождения, а именно тот, кто отвергает ведущие к нему ступени и, гнушаясь труда, складывает руки.

Рано или поздно в нашем общественном сознании утвердится та истина, которая в последние дни жизни Гоголя была его заветной мыслью: что путь к идеалу есть лестница. Как бы долг и труден ни был этот путь, он должен быть пройден до конца. Но, чтобы найти в себе потребные для этого силы, нам нужно всем сердцем верить в ту цель, к которой мы идём. Надо никогда не ослабевать в искании России и сквозь бедность окружающей жизни уметь различать её идеальный, духовный облик. Когда-нибудь она победит и наполнит содержанием то беспредельное пространство, с которым она ныне борется: оно перестанет быть пустым и неприютным. В том порукой нам — наше великое искусство, которое заселяет пустыню образами, тот гениальный творческий дар, который явился в произведениях наших художников. Любовь к России родила эти чудные образы и звуки, и творческая сила этой любви доказывает, что жива Россия. По

слову Достоевского, красота спасёт мир. Будем же верить в тот дивный, прекрасный, новый мир, в котором само пространство станет песнью. В нём родина — навеки наша.

Тот странник-богоискатель, который всегда жил в лучших произведениях русской литературы, когда-нибудь достигнет цели своих странствований и найдёт ту Россию, которую все мы ищем. И как бы ни были необходимы внешние преобразования, ими одними это не будет достигнуто: по вещему слову Гоголя, для этого нужно внутреннее дело души, прочное дело жизни.

1909

